

очерк

Рабит
Батулла

Чужой

161

о поэте Рустеме Кутуе, которому на следующий год исполнилось бы 80 лет

Не знаю, почему, Рустем со мной был в приятельских отношениях, то ли от того, что я часто читал его стихи в компаниях татарских литераторов, то ли от того, что однажды провёл его творческий вечер в Доме актёра, будучи сценаристом, ведущим и исполнителем его стихов. Стихи Рустема имели огромный успех, особенно его поэма «Казанская сирота».

Мы часто беседовали, наш диалог нередко превращался в монолог Рустема, а я становился единственным его слушателем.

Рустем был раздираемой противоречиями личностью. Как мне кажется, у Рустема были три неразрешимых вопроса: национальной принадлежности в качестве поэта; вопрос социальной справедливости и любви, то есть семейные проблемы.

Он, как поэт и прекрасный прозаик, владел изящным русским языком. Высокий слог, образные выражения, инсказания делали его поэзию неповторимой и вывели в поэтический авангард республики.

Но в состоянии лёгкого возбуждения Рустем свою речь насыщал крепкими словечками.

– Я же не со зла ругаюсь, старик, –

объяснял он. – Это – вспомогательные слова, и употребляю я их ради воздействия на собеседника. Иначе люди не понимают. Это образные выражения...

– Как же они поймут твою высокую поэзию, когда не понимают тебя без твоих «образных выражений»? – ответил я.

– Фу ты... они ведь не читают моих стихов, им до фени мои стихи! Вы, татары, не читаете Рустема Кутуя, думая, что он русский поэт. А русские не читают Кутуя, думая, что он татарин. Но я поэт, понимаешь, настоящий поэт! Однако без читателя. Гениально! Это же надо умудриться быть хорошим поэтом и не иметь своего читателя. В Казани я – русский, в Москве – татарин. Везде я не свой, везде – чужой... – Рустем беззлобно выругался и улыбнулся своей редкой, но очень доброй улыбкой. Мне кажется, что он говорил не для собеседника, он не старался объяснить партнёру о своём нелепом положении, скорее, думал вслух, разговаривал сам с собой...

Рустем, уставившись в одну точку, продолжал свой монотонный монолог:

– Да, мой отец, Адель Кутуй, был популярнейшим татарским писателем, был красив собой, образован, прекрас-

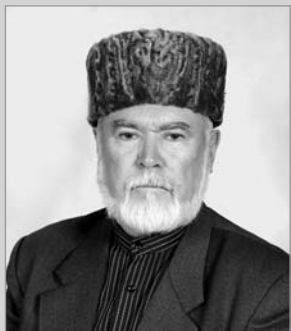
но владел русским и татарским. На торжественном собрании, посвящённом 100-летию Льва Толстого, доклад на русском языке поручили именно ему – Аделью Кутую. Значит, мой отец чего-то стоил! Но его ошибка: он думал, что татарский язык исчезнет, и миром будет править только русский язык. Так же, как и Шамиль Усманов, бредил ещё своим эсперанто, веря, что в ближайшее время искусственный язык будет править балом. Оба они – и мой отец, и Усманов – не бездарны, но они были недалёковидными простаками. У них не было своего реального мировоззрения. Если даже оно и было, то – ложное. Мой отец и моя мать принципиально не говорили со мной на татарском языке. И я вырос без татарского, моим родным языком стал русский. Я люблю русский язык и думаю, говорю, творю на нём. Но... Но вот Мустафин, Ахунзянов, Калимуллин спокойно пишут на русском, не говорят по-татарски, и никто их почему-то не критикует за забытый татарский, а на меня набрасываются все, кому не лень. И вы смотрите на меня как на изгоя, забывшего свой родной язык. Получается, я неблагодарный сын, который предал своего родного отца – татарского поэта. Едрёно мать! Это вы предали Аделя Кутуя. Жрёте друг друга. Обвинили отца в пресловутом «джидиганизме», идиоты! И упрятали его в тюрьме. Не было никакого «джидиганизма»... просто Адель Кутуй, Исанбет были слишком популярны. Бездари терпеть не могли их. На

руку НКВД были доносы завистников... В 1935 году повесть отца «Неотосланные письма» перевели аж на двадцать языков мира. Кому из татарских писак выпала такая популярность?

Рустем долго молчал, ещё раз выругался и безрадостно улыбнулся. В его улыбке тенлился грусть.

– Отец с оружием в руках с 1942 года по 1945 год, до самой своей смерти, защищал страну, которая его опозорила, которая обвинила его в антисоветизме. Его вызвали из действующей армии в Казань, чтобы сделать министром культуры, но татарва напомнила, что он сын фабриканта, он же и «джидиганист». Не зря говорят, голову татарина татарин сгрызёт. Это было огромным ударом для отца, который в итоге своей жизнью, вернее, смертью доказал, что он не контра... Он не смог оправиться от этого удара. Кутуй ночью пришёл к своему другу Исанбету, молча попил чай и, уходя, сказал: «Наки, я пришёл попроситься с тобой! Снова ухожу на фронт, догонять свою дивизию... На войне всё чётко и ясно. Впереди враг, позади – друзья и соратники. Точно знаешь, в кого стрелять! Здесь, в Казани, не поймёшь: кто тебе друг, а кто душман. На фронте я нужнее!...»

Ушёл отец на фронт и не вернулся, остался лежать в земле польской. Тогда мне исполнилось девять лет... Мать сидела с похоронкой в руках до самого рассвета... А Гумер Баширов, Фатих Хусни, Галимджан Латип, Гариф Губай



Народный писатель Татарстана Раби́т Бату́лла (Роберт Мухлисович Батуллин) родился (1938) в д. Түбән Олыжы (Нижние Лузи) Заинского р-на в учительской семье. Окончив среднюю школу в соседнем селе Бишавыл (Пять Деревень), преподавал в семилетке д. Кадер («Честь») того же района. Окончил Московское театральное училище им. М. Щепкина, Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, Высшие литературные курсы при Литинституте им. М. Горького в Москве. Творчество Р. Батуллы разнообразно. Он артист и режиссёр, прозаик и драматург, сказочник и телевизионщик... За роман «Сююмбика» и другие исторические произведения награждён Литературной премией Союза писателей им. Г. Исхаки (1991) и Государственной премией РТ им. Г. Тукая (2006)

остались в тылу с бронью, сытые, довольные... Директор издательства Мухаммат Гайнуллин предложил ему бронь и хорошую редакторскую работу. Отец отказался от брони... Нет, я не виню тех, кто остался с бронью на руках, и не хвалю отца за то, что он дважды добровольно ушёл на фронт, навстречу своей смерти. Отец ведь не только в тылу был популярнейшей личностью, но и на фронте. Как-то Гариф-абый Галиев рассказывал такую историю. Узбекский журналист по имени Исмаил и татарский писатель Гариф-абый работали военными корреспондентами прифронтовой газеты «Кызыл Армия». Их послали, чтоб написать очерк о воинах-татарах, сержавшихся на передовой под шквальным огнём противника. И они наткнулись на немецкий пулемётный дзот. Увидев двух советских воинов, гуляющих под самым носом, немцы открыли огонь. Гариф-абый с Исмаилом дали стрекача. Еле спаслись. Они плутали между оврагами, кустарниками и оказались рядом с замаскированными советскими танками. «Стой! Кто идёт?» – послышался голос часовой. – «Свои! – кричит Гариф-абый. – Мы корреспонденты газеты «Кызыл Армия» – Исмаил Абдуллаев и Гариф Галиев». – «Пароль! Документы!» – требует часовой. – «Документы остались в редакции, пароль не знаем». – «Кого вы знаете в редакции?» – «Аделя Кутуя!» – кричит Исмаил. – «А что вы знаете про Кутуя?» – спрашивает часовой. Гариф кричит: «В нашей газете вышли его очерки «Мы сталинградцы», рассказ «Кинжал», рассказ «Ностальгия». «То-то! – радостно отвечает часовой. – Проходите и побыстрее, сейчас самый настоящий Сабантуй начнётся...» Понимаешь, на войне Аделя Кутуй был паролем для татарских журналистов.

Рустем улыбнулся, не торопясь закурил, затянулся глубоко и продолжил:

– Ведь он ученик Маяковского. Понимаешь? Ну не в прямом смысле слова. – Рустем опять замолчал. Погасил недокуренную сигарету, придавив в пепельнице. – Отец кидался из стороны



в сторону – то в химию вдарялся, то к футуристам примыкал, то он преподавал литературу, потом стал заниматься драматургией, сделался театральным критиком... Читал свои стихи со сцены и имел большой успех. Такташ, Кутуй и Исанбет были прекрасными декламаторами. Таким образом он искал себя. Мне он ближе как футурист, там что-то было. Последние стихи его не ахти... Адель Кутуй рвался ввысь, но окружающая коммунистическая мораль тянула его вниз, засасывала идеологической рутинной. Он стал бы, как мне кажется, больше драматургом, хорошим прозаиком, чем поэтом. Но не успел... Я отца любил очень... Часто его вижу во сне и сейчас... молодого, красивого, улыбающегося.

**Над городом летает пух.
Дома в плену тепла и света.**

.....
**Легко всё.
Тюрем нет на свете,
очередей в помине не осталось,
патрон последний заржавел в затворе.
Летает пух. Летает пух.**

.....
**Нас трое за столом.
Отец с войны. Устал.
И пьёт вино, что двадцать лет хранили.
А на гвозде, как тень его, шинель.**

**Летает пух.
И надо же обмануться...**

Знаешь, я проснулся как-то в детстве, стал искать отца, который только что был здесь, дома. Прибежал к вешалке, где только что висела его шинель. Мама всё поняла, ребёнок видел отца во сне, она обняла меня, крепко прижала к себе и тихо заплакала. Никогда не забуду эти слёзы... Или вот: учился я в университете, повторил лекции и стал пыхтеть над стихами. Мама на кухне готовила ужин. Вошёл к нам худой, белый странник, он был весь в белом, и волосы его были седыми. Они с мамой о чём-то говорили, старик всё время ходил взад-вперёд, видимо, волновался, голос у него был сиплый и очень слабый. Улыбался он, мне показалось, измученно. Как только он ушёл, я спросил у матери: «Кто этот старик? Откуда?» Мать отве-

тила: «Он вернулся, сынок, из далёких краёв, оставшись живым! Вернулся из тех мест, где земля усеяна могилами. Он был другом твоего отца. Это – поэт Хасан Туфан. Ищет своих друзей. Хочет привыкнуть к свободе». – «Сколько он там пробыл?» – «Столько, сколько тебе лет, сын. У него остались жена, сын и дочь. Сначала умер истощённый сын, потом умерла жена от малокровия. Она как донор сдавала свою кровь и на эти деньги высылала еду голодающему в тюрьме мужу. Вернулся он к дочери, единственной, но дочь не приняла отца. Они стали чужими. Совсем чужими. Она росла, как дочь врага народа. Её мать мучили как жену врага народа. И у дочери возникли отрицательные чувства к отцу, ведь они страдали из-за него. Нет, они не помирились, лишь отделились ещё больше».

Да, стали чужими. Фактически дочь выгнала своего отца из квартиры, которую получил поэт. Ушёл Хасан-ага, оставив дочери всё. Но вскоре бандиты при ограблении убили его дочь. Что может быть трагичней, чем потерять всю семью?!

Я спросил у матери: «За что его посадили?» Мать ответила: «За то, что он был хорошим поэтом». – «Для того, чтобы стать хорошим поэтом, надо пережить то, что он пережил, да?» – «Это судьба татарских поэтов, сын, и твой отец был замечательным поэтом и погиб».

Повзрослев я понял, действительно, судьба больших татарских поэтов не была праздной. В тринадцатом веке Кул-Гали убит на войне, Саиф Сараи умер в изгнании, Печальный Хасан и Мухаммедьяр погибли при защите Казани в шестнадцатом веке. Казанский поэт Гариф убит при обороне Казани. Поэт Мухаммад Амин-хан был отравлен лазутчиками Москвы. Кул-Шариф погиб при обороне Казани. Акмулла убит разбойниками. Шаехзада Бабич убит красным командиром. Даут Губайди убит красными. Шамун Фидаи убит красными. Газиз Губайдуллин, Галимджан Нигмати, Жамал Валиди, Махмут

Галяу, Карим Тинчурун, Гумер Гали, Гумер Тулумбай, Галимджан Ибрагимов, Шамиль Усманов, Фатхи Бурнаш, Лябиб Гильми, Сагит Сунчелей замучены до смерти в советских застенках. Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Хайрутдин Музай, Рахим Саттар казнены фашистами. Фатых Карим, Нур Баян... всего 42 татарских писателя погибли на войне... Татарская поэзия – это поэзия героизма и самопожертвования! Этим мы должны гордиться или же печалиться? Каков будет мой удел? Ведь я тоже поэт, чёрт побери! Я готов принять смерть, но ещё повоюю с Азраилом!

* * *

Как-то мы с Рустемом Кутуем, Эльсом Гаделевым, Рустемом Мингалимом и ещё несколькими другими поэтами оказались в отделе пропаганды Союза писателей. Были мы все слегка навеселе. Кажется, обмывали мою книгу рассказов «Не покину тебя». Вдруг в нашей компании появился Наби-ага Даули, выпустивший несколько повестей на военные темы и несколько книжек стихов, и мы пригласили его к столу. То ли, чтоб показать своё отношение к Кутую, то ли по другой причине Наби-ага сказал Рустему: «Мы с твоим отцом, Аделем Кутуем, были близкие друзья, а ты отказался перевести мои стихи». Даули-ага хотел ещё что-то добавить, но не успел, Рустем вдруг вскочил с места, бросил вилку на стол и крикнул: «Наби-абый! Как вы докажете, что были близким другом Аделя Кутуя? Да, вы все любите Кутую, все были его друзьями, а сами посадили его за решётку и дважды послали на верную смерть».

(Наби Даули стал оправдываться, что-то доказывать, но Рустема невозможно было успокоить. В таких случаях он закусывал удила и его несло в бранное поле.)

«Приближается 80-летие Аделя Кутуя, а в темплане издательства нет ни одной его книги. Наби Даули, ты что-нибудь сделал, чтобы увековечить на следие своего близкого друга, геройски

погибшего на фронте? Ты подготовил доклад о его жизни и творчестве, хотя бы написал статью-воспоминание о своём близком друге Кутуе? Нет! И ты мне здесь зубы не заговаривай... Все вы друзья, когда вам это надо. Хочешь, чтоб я перевёл твои стихи? Наби-абый, не обижайся, да, ты прошёл сквозь жерло войны, испытал муки плена, был свидетелем расстрелов, истязаний, массовых убийств... А где это всё в твоих стихах? И в твоей прозе нет ужасов войны, боли сердца нет. «Между жизнью и смертью», «Разрушенный бастион» меня не колышут. Ты хладнокровно описываешь то, что видел, и всего-то ты, на поверку, – равнодушный повествователь...»

Первым, хлопнув дверью, ушёл Кутуй, немного погодя – Наби Даули. И мы угрюмо разошлись по домам.

Рустем не был злобной натурой, он был честным человеком и поэтом. Упрёки со стороны татарских консерваторов, что он-де предал своего отца незнанием татарского языка бесили его. Это была его боль, но он с удовольствием переводил стихи современных татарских поэтов на русский. Переводы были блестящими.

– Такого богатства поэзии, как у татар, среди нерусских народов СССР нет, татарская поэзия самая богатая и оригинальная. Я переводил татарских поэтов, среди них Хасан Туфан, Роберт Ахметзянов, Равиль Файзуллин, Мударис Агьямов, Нури Арсланов... Это же настоящий клад, одно удовольствие переводить их. Но мне всегда подсовывали стихи ура-патриотов. Это мучение мытариться над их придуманными стишками. Хотят поэтами заделаться. Нет там поэзии... Однажды Нур Гайсин сунул мне в руку кипу рукописей! «Рустемчик, переведи, пожалуйста, и мои стихи...» Прочитал я его кипу и отказал. «Почему?» – спрашивает. – «Нурулла-абый, говорю, – я же перевожу с т и х и». – «Ну мои тоже стихи». – «Нурулла-абый, вы меня не поняли, что ли? Я перевожу только поэзию». Бедный Гайсин так и не понял, ушёл, что-

то бормоча себе под нос. И через некоторое время возвращается с бутылкой водки. «Хочешь, Рустем, выпить?» А я с похмелья был, голова трещит, сказал: «Хочу! Но только, Нурулла-абый, договоримся, я выпью, но твои эти рифмосплетения всё равно переводить не буду». Гайсин засунул бутылку обратно в карман и молча ушёл, оставив меня один на один с трещащей головой. Таких рифмовщиков в Казани предостаточно. Лишь бы напечататься на русском... лучше в Москве... в какой-нибудь центральной газете или журнале. Качество их не интересовало. Читая рифмованную чушь таких авторов, читатель подумает: у татар что-то не в порядке с головой, хотя те из кожи вон лезли в воспевании развитого социализма. Да ну их на... хутор близ Диканьки!

Действительно, он ругался беззлбно. Друзья-писатели понимали и призывали к его «образным выражениям», но однажды в кафе «Чырши» он выругнулся, проходя мимо молодых парней на выходе из заведения, а те приняли это в свой адрес и в тёмном дворе кафе жестоко избили его. С переломами челюсти, выбитыми зубами, сломанными рёбрами Рустем долго лежал в больнице. Но привычку свою так и не бросил.

«Ты подал заявление на розыск хулиганов?» – спросил я его. Он ответил, употребив крепкое словечко: «Да ну их!..»

* * *

Другая проблема, которая раздражала его на части, была социальная несправедливость, политическая проституция действующей власти. Он был убеждённым не-коммунистом. И с постоянным усердием старался донести это до своего читателя – то намёками, то эзоповым языком, а порой и открытым текстом.

Рустем Кутуй с иронической улыбкой наблюдал, как размножалась посредственность и незаслуженно получала ордена, медали, звания... Их было предостаточно – незаслуженно заслу-

женных, заслуженно незаслуженных... Завидывал ли Рустем этим аферистам от искусства? Нет! Он прекрасно понимал, в какой стране и при каком режиме живёт. И эту клоунаду он воспринимал, как неизбежную беду, как объективную данность.

Один из таких «преуспевающих поэтов» ненароком прошёл по Роберту Ахметзянову. Молчавший до сей поры Кутуй, как копьём, тыча указательным пальцем в грудь говорящего, сказал:

– Не трогай Роберта, твою мать!.. Об отсутствующем плохо не говорят... Что вы знаете о Роберте? Пьяница, да? Вот ярлык, которым вы его одарили. А ведь большую часть своей жизни Роберт трезв и пишет, пишет свои прекрасные стихи. Закончил цикл или поэму – вот и позволяет себе расслабиться. Выпил и пошёл в Дом печати, и все видят его таким и только таким, навеселе. А он ведь просто отдыхает после своей трудовой вахты. Как поэт Роберт заткнёт за пояс любого из ваших паиньких питов. Паинькие-то пьют не меньше, но в Доме печати не показываются, сидят за рюмкой дома, за занавешенными окнами. Умные!

**Каково коварство! – сжалось сердце. –
Даже при социализме – варварство!
Возвратятся перелётные птицы,
какая кровью с усталых крыльев
на воды Гнилого Озера.**

Кто ещё из поэтов высказывался так смело? Где татарские Солженицины? Нет их! Наши аксаклы писали свои воспоминания до 30-х годов и – стоп! Дальше проезд татарскому писателю был запрещён! Как домоклов меч, висел над ним красный кирпич, который в любой момент мог сорваться и разбить голову. От трусливого молчания нас спасает книга Ибрагима Салахова – трагедийная хроника о годах сталинского режима, колымских лагерях и жизни заключённых ГУЛага. Спасибо ему. Эта книжка под названием «Рассказы Колымы» сделала среднего журналиста, испытывавшего все «прелести» политических репрессий тех времён, по большому счёту героическим писателем.

Рустем рассказывал:

– Однажды, получив гонорар из Московского издательства «Современник» за свою книгу «Солнце на ладони» и набрав всё, что необходимо для застолья, я направился к Роберту Ахметзянову. Дверь его квартиры всегда была открыта. Перешагиваю порог и вижу: исписанные стихами листы разбросаны по всему полу. Узнав, с какой целью я пришёл к нему, он быстро встал со словами: «Рустик, милый, дорогой мой! Я заканчиваю новую поэму, не могу составить тебе компанию, прости ты меня!» – «Ладно!» – сказал я, ничуть не обижаясь, откупорил одну из бутылок, выпил, хотел оставить принесённое... Но Роберт недовольно-умоляюще сказал: «Рустик, забери всё, а то я не допишу книгу».

Я ушёл восвояси со своей ношей искать другого соотрапезника. И нашёл тебя. И Роберт тогда заменил Роберта...

– Бату, мне приятно с тобой общаться... Знаешь почему? Во-первых, ты активно поддерживаешь тех поэтов, которые не имеют протекции в верхах. Во-вторых, ты заядлый телевизионщик, это огромная аудитория, и она твоя. Ты очень популярен. Но ты не обольщайся. Дети, да, тебя любят, но взрослые ненавидят.

– Почему?

– За эту твою популярность! Завистники и неудачники пишут, чтобы закрыть цикл твоих телепередач. Бездарь во власти никогда не простит тебе твоего таланта.

Прав был поэт, я помню, как травили меня знакомые и незнакомые люди. Оказывается, раздражали их мои задушевные сказки и рассказы, вызывали нетерпение моя популярность, когда и стар и млад во время моих телепередач буквально прилипали к экранам. Один горе-педагог по имени Сагит Хафизов написал в партийную печать: мол, сказки Батуллы про мышонка Чикыл (Пискля) вредны для советских школьников. Слава Аллаху, таких было всё-таки меньшинство! В основном же люди платили мне добром – на дорогах, когда ломалась машина, в подворотнях, когда

на меня нападали шпана и убивали... Добрые, нормальные люди узнавали меня, называли по имени, благодарили за творчество, за книги, за телепередачи... Я благодарен им. Не просто за себя, а за торжество сил добра на этом свете.

– У меня много работы, Бату. Кроме своего творчества мне приходится много переводить татарских поэтов и прозаиков. Там полно шелухи. Все рвутся поблистать на всесоюзной арене. Почему вы, татарские писатели, так рвётесь напечататься в центральных изданиях, хотите чтоб про вас заговорили как о Гамзатове, Айтматове, Межелайтисе, Мустае? Не тут-то было! Вон – печатаются Заки Нури, Наби Даули, Мухаммет Садри, Галимджан Латып, Самат Шакир. И что? Где ажиотаж вокруг татарской поэзии? Где? Понимаешь, бездарь не страшен... Страшной войны для поэзии – талантливый проходимец, лжеписатель, самозванец... Японский бог! Имитатором, халтурщиком может стать по большому счёту только по-своему талантливый человек... Но в чём его талант – вот вопрос! Ты сам ведь человек не без способностей, знаю, тоже стихи писал. Но ты же их не печатал... Тем самым для татарской поэзии сделал такое доброе дело, что тебе пора памятник ставить с надписью: «Этот человек внёс в татарскую поэзию свою лепту, не напечатав ни единой своей строчки!» Давай выпьем за это! За тебя!

Я только улыбнулся в ответ. Поэт будто читал мои мысли, он продолжал:

– Если бы ты сказал о своей обиде, то я б подумал: дружище не догоняет. Не люблю тех, кто обижается, дуется... И сам не держу зла на критиков, шутников и даже кляузников... Да и невозможно меня чем-либо обидеть. Обижается только бездарь. Сколько б мне ни говорили, что я пьяница, меня это никоим образом не трогает. Потому что я и есть это самое... Сколько б ни говорили, что я сквернослов, меня это совершенно не колышит, потому что я и на самом деле матерщинник. Если мне скажут, что я бездарь, ей богу, не обижусь, ибо знаю,

что я даровит! Меня можно обидеть только неискренностью. А ты со мной всегда искренен. Искренность – твоё сокровище, Бату!.. Вот я перевёл несколько стихов одного поэта, неплохие стихи, но он со мной неискренен, эта неискренность переходит и на его поэзию... Я больше не перевожу его. И не общаюсь с ним. Он предлагает мне самые дорогие коньяки, я отказываюсь, для меня твоё недорогое вино вкуснее. Налей-ка ещё свой «алабашлы»...

Мы подняли... за здоровье татарской поэзии. Рустем спросил:

– Что мне делать, Бату? Вот ты ведь не пьёшь...

– А что же я делаю тут с тобой?

– Я хотел сказать: ты умеешь пить. А у меня вот нет тормозов – ни в питии, ни в творчестве, ни в любви...

Рустем закашлялся, закурил, голос его стал особо низким и рокочащим.

– Я... потерял Свету и... сына. Что может быть трагичнее лишиться любви? Для них я чужой... Не вижу перспективы, друг... Самое страшное – я чужой и для вас – татар...

* * *

Однажды мы с Рустемом после каких-то литературных дебатов стояли на улице, под навесом Дома печати, и решали вопрос выпивки: у него был рубль, у меня – два. Предвкушая удовольствие, мы хотели сходить в соседний магазин за «Московской». Вдруг внимание Рустема привлёк мальчишка лет семи, с бидоном в руках, спускавшийся по лестнице. Мальчишка был в очень хорошем настроении, что-то подпевал себе поднос.

– Гляди, Бату, идёт счастливый человечек. Знаешь, почему он радуется?.. Мать ему велела сходить за молоком. А на сдачу купить себе мороженое.

Тут случилось непредвиденное, мальчишка споткнулся, и большая монета вылетела из ладони мальчишка и покатила прямо к решёткам водосточной трубы. Мальчик с ужасом на глазах бежал за монетой, но не успел, монета

юркнула сквозь решётку вниз. Он подошёл к решётке, куда только что кануло его счастье. Решётку невозможно было поднять без специального приспособления водоканальщиков, и мальчик заплакал горячими слезами. Вполголоса Рустем сказал мне:

– Ему страшно вернуться домой без молока. Дома пьяный отец и нервная мать. Как только он вернётся с пустым бидоном, его будут ругать и лупцевать. Вместо мороженого он получит хороших тумачков. Смотри, какая трагедия на его лице...

Рустем подошёл к мальчику, заговорил с ним. Поэт был прав, действительно, мальчик шёл за молоком, на оставшуюся мелочь должен был потчевать себя мороженым.

– На, бери! – Рустем протянул мальчику свою заначку – последний рубль. – Бери и иди за молоком, на оставшуюся мелочь купишь себе мороженого.

Мальчик оторопел, не мигая смотрел на бородатого дядю. Когда Рустем повторил свои слова, мальчик живо взял рубль и, забыв поблагодарить своего спасителя, помчался в сторону магазина.

– Вот вам сюжет... валяется под ногами, поднимите и напишите рассказ, – произнёс Рустем, и на мою заначку мы купили вместо предполагаемой водки дешёвого вина. Когда сидели за столиком, Рустем сказал:

– А водопроводчики найдут эту монету с головой Ленина и выпьют за развитой социализм.

* * *

В творчестве поэтов его склада есть стержень поэзии, который держит, толкает вперёд, если хотите, всё человечество!

Умирала река.
И всю ночь кричали русалки.
О пощаде кого-то молили.
Как под чёрными парусами,
двое тихо смеялись в малине.

.....
А по стёклам
стучали, как дети, ветки.
И шаги вспоминало крыльцо.

День пришёл, как ушёл навеки,
затворив, как калитку, лицо.

Рустем напряженно мыслящий поэт. Он похож своим творчеством на татарник, который ещё называют чертополохом. Татарник имеет колючки и прекрасный цветок. Колючки татарника защищают цветок от врагов и всякой животины. Даже когда татарник погибает, цветы его остаются красивыми, а колючки колются ещё сильнее.

И поэзия Рустема похожа на этот дикий цветок. Поэзия Рустема убаюкивает, успокаивает, но неожиданно тревожит и ты становишься более бдительным, наблюдательным, мыслящим.

Рустем в жизни человек тихий, скромный, без особых претензий. У него ровный характер. Но в творчестве он поэт, рубящий с плеча. Динамика его стихов удивляет: какие повороты, неожиданные концовки, образные выражения и высокая гражданственность!

Буратино укротили,
и снова он – полено.
Веселился,
песенку наматывал на нос.
А теперь полено –
полено Буратино.
Кто к порогу сказку
убитую
принёс?

Мы не очень часто встречались с Рустемом. Но, если встречались, то обыкновенно молчаливый Рустем начинал говорить то стихами, то прозой, то... Мне всегда было интересно с ним. На этот раз Казанская сирота, как ни странно, был без денег, зато я имел в портфеле чистый спирт и хорошую закуску – копчёное мясо и мочёные яблоки. Мы нашли укромное местечко в подвале Дома печати и сварганили скатерть-самобранку. Рустем был в настроении.

– Слушай, Бату, – начал он. – Я недавно написал про спирт...

Я слышал,
лось по ночной воде стосковался,
влажной тропой прошёл, неслышный,
и вдруг удивился круглолицей луне на воде
и качнул молодыми рогами,
потянувшись губами к луне.

Спустия много дней родился лосёнок
с серебристой шерстью,
с глазами зелёной травы,
с копытцем из лунного звона.

На миг замри
перед безмолвием земли –
рога, как ветви из корней, взошли,
Гон! Гон! Гон!
Чей закон?
Свой закон!

По сиреневым снегам,
по сиреневым просторам –
гон!
И ликующее:
– Вон...

Он! Он! Он!
Лось дымился. Тёмный ужас
белый свет качал в глазах.
А кольцо всё туже, туже.
Лось, как в проруби сазан,
голубой, засеребрённый,
как меха, туги бока.

Вбиты намертво патроны,
замерла в броске рука.

Ах, земля, земля поката
от заката до заката.
Всякой живностью богата
от раската до раската.

.....
Пили спирт. Всё было просто.
Лес летел в вагонном окне.
Вершины деревьев
чертили по небу ломаную линию –
кардиограмму земли.
Пело радио.
Проводница разносила красный чай.
Улыбалась.
Пили спирт с угрюмой усталостью.
Старик вырезал мальчику Буратино.
На верхней полке
раскачивались рога сохатого.
Мешки, набитые кровавым мясом,
стояли в ногах.
Поезд шёл к горизонту.

Рустем уткнулся взглядом в лампу, покрытую слоем пыли, которая еле освещала подвал, вздохнул и сказал:

– Пьем спирт и закусываем мочёным яблоком!

Тогда или в другой раз, не помню, я спросил поэта:

– Почему у тебя нет комических, сатирических вещей?

На что он ответил словами Тукая собственного, кажется, перевода:

Коль хочешь, чтоб тебе в ответ звучали
Все струны сокровенные сердец,
Пусть будет полон твой напев печали,
Про беззаботный смех забудь, певец!

Между татарскими поэтами, писателями часто возникает спор: чем определяется принадлежность поэта тому или иному народу. Его происхождением, языком, на котором он пишет, или же философией? Рустем пишет на русском языке. Мы знаем многих писателей Индостана, пишущих на английском языке, мы знаем многих африканских писателей, пишущих на французском языке. Мы знаем русскоязычных писателей Чингиза Айтматова, Фазиля Искандера, Рытхэу... Однако они не перестают принадлежать своему народу.

Летом 1967 года вместе с Ильгамом Шакировым я выехал на гастроли по городам Средней Азии. Моя обязанность заключалась в пересказах со сцены своих же рассказов. В продолжение концерта где-то около тридцати минут я провожу на сцене, а потом я свободен, гуляю по городу, захожу в магазины. Это было в Узбекистане, в городе Беккибад. Дефицитные товары продавались лишь из-под полы. Мне было поручено достать растворимый кофе, колбасу сервелат, две курицы и несколько пачек индийского чая второго сорта. Я встал в очередь, но вскоре завмаг объявил, что эти товары кончились, очередь быстро растворилась, и я остался у прилавка один-оденёшенек, как дитя, у которого отняли любимую игрушку. Вдруг продавщица моих лет полушёпотом обратилась ко мне на крымско-татарском:

– Я была на вашем концерте!.. – сказала она. – Чутьочку подождите, я вам принесу то, что вы хотите. Меня зовут Эсма.

Она ушла внутрь магазина и вскоре вынесла небольшую упаковку.

– Саг олунуз! Будьте здоровы и спасибо! – сказала Эсма-ханум.

Я удивился, почему мне спасибо? Это я должен её поблагодарить. Она тут же ответила на мой немой вопрос:

– Я сама крымская татарка. Когда нас изгнали из родины, мне было десять лет. Один татарский писатель в защиту нас написал книгу. Большое спасибо! Все читают эту книгу и благодарят писателей Татарстана!

К своему стыду я не читал эту книгу. В то время, то есть в 1967 году, такой смелости из татарских писателей ждать было не от кого. Из ряда вон выходящий поступок. Хоть в душе и сочувствовали татарские писатели крымским татарам, но нигде и никогда об этом не говорили и не писали. Я пытался об этом высказаться с трибуны Союза писателей Татарстана, но меня вызвал к себе председатель правления Союза писателей Мирсай Амир и предупредил:

– Будь осторожен, Батулла! О крымских татарах ни слова больше!

Я молча принял благодарность Эсмы-ханум и вернулся к группе наших артистов. Разговор с Эсмой-ханум я пересказал Ильгаму.

– Это Рустем Кутуй! – сказал великий артист. – В книге «Идти за облаками» учительница называет крымских татар предателями родины. Один из учеников встаёт и говорит в ответ: целый народ не может быть предателем.

Вот это самое одно предложение и прозвучало для крымских татар как великая защита со стороны казанских собратьев. Чтобы осмелиться написать такое во времена дискриминационной национальной политики в СССР, надо было быть или безумцем или же не знаю каким храбрецом. Фактически Рустем Кутуй один реабилитировал казанских татар перед крымскими соплеменниками.

* * *

Он любил свою Светлану и своего первенца Аделя, названного в честь его дедушки Аделя Кутуя. Светлана для Рустема была и любовью и печалью. В его стихах Светлана предстаёт в образе Сююнбеки (Сююмбеки):

Ты смежи для света веки –
то не дождь летит грибной,
горько плачет Сююнбеки
над моей шальной судьбой.

Он очень тяжело переживал разлад с семьёй, стал пить чаще.

Мы, молодые поэты, писатели, музыканты и журналисты однажды по-

сле Сабантуя решили закатить пир на весь мир. Были гости из Москвы и других братских республик. И опять разговор зашёл о Рустеме Кутуе и его незнании татарского языка. Говорила красивая татарка-журналистка, за ней усердно ухаживал поэт Евгений Евтушенко, приглашённый на праздник из Москвы. Было много народа, в том числе и Рустем.

Дали слово журналистке.

– Мы любим поэта Аделя Кутуя, – начала ханум. – Мы знаем его творчество наизусть. И как это так, что его родной сын не может читать стихи отца в оригинале!

За столом возникла напряжённая пауза. Я насторожился – вдруг Рустем взорвётся, пошлёт дамочку куда подальше, не взирая на приличия и уважаемых гостей. Но он молчал. Затем встал, ничего не сказав, и стал читать стихи:

У рыжего огня с молитвой строгой
мне вырвали язык, чтоб много не болтал.
Вздыхнуло небо. Месяц вздрогнул.
Мулла пропел:
– Всесильна немота...
А я орал, выплёвывая звуки.
Я землю рвал, мешая кровь с травой.
Упала ночь, оглохшая, на руки.
Молчали псы, мой дикий слыша вой.
Ещё жила хрусталина в гортани,
ходил кадык упруго, свеж и кругл,
как реки, песни горлом пролетали
и расшибались вдребезги у скул.
Дождём слепым, коротким, как надежда,
Заря небесно опустилась на меня.
Я сам себя проклятием утешил,
Косую тень на ветер наклоня.

Мы все заморожено молчали и слушали. Низкий, рокочущий голос его от слова к слову набирал силу и наконец зазвенел высоко и раскованно:

Любимая забыла моё имя
и с языкастым разделила ночь.
Друзья ступали осторожно мимо.
Прочь!

Я хохотал им вслед, без слёз рыдая.
Помешанный! – кричали все углы.
Моё жильё – ты, горькая полынь.
Владыка на коврах царил, как беркут.
Холуй пред богом, нищий предо мной.
С чела до пят я снял скупую мерку –
и три аршина вырыл под стеной.
Я пережил пожары и набеги.
Я эхом стал высоких пепелищ.
О, мой язык, вмурованный навеки
в заросшее молчание жилищ!
Он – там, в курганах, чуткою струною
поёт, едва коснись травы,
то легкою татарскою стрелою,
то поступью кипчакскою тропы.
И археолог в бессловесной ночи,
один наедине со мной
вдруг слышит – камень тихое бормочет
и плачет дерево янтарною слезой.
То – я, жестоко осквернённый,
брожу, шепчу неясные слова.
И бьёт крылом кладбищенским ворона
и охает полночная сова...

Поэт смолк на мгновение и закончил свой неожиданный монолог опять понизившимся рокочущим голосом:

Я сотворю намаз, как перед казнью.
Вероотступник я, но сотворю намаз.
Когда на травах ночь, луной скупа,
погаснет,
я солнце опущу в колодец глаз.
Я сотворю тебя...

Рустем опорожнил свою ёмкость с вином и, не прощаясь, оставил нас, ошарашенных, у стола. Посаженная на короткую шею голова, одинокая, сгорбленная фигура поэта исчезла за тёмными палатками.

Он ушёл туда, где никто его не ждал.

Пир на весь мир был расстроен. Рустем унёс с собой наше веселье.

А московский поэт увёл татарскую красавицу в сторону лесопосадки...